

ТРИ ПОРЫ ЖИЗНИ

Роман Евгении ТУР. Три части. Москва. 1854¹

Полезно ли перелистывать старинные плохие романы? «Без всякого сомнения, бесполезно, — скажут в ответ многие, — плохих романов и новых читать не стоит; а старинные плохие романы, конечно, еще хуже их». «Неопытность говорит вашими устами, — возразим мы людям, хулящим старые плохие романы, и тем, которые покушаются перечитывать эти книжки, маленькие, но многочисленные, — да, неопытность и отсталость от века. Каждое слово вашего ответа ложно. Во-первых, предполагая, что новые плохие романы не так плохи, как старые, вы отвергаете прогресс: прогресс состоит в том, что с течением времени хорошее делается еще лучше, плохое еще хуже; следовательно, по закону прогресса нынешние плохие романы должны быть еще хуже старинных. Si поп, поп: если нет, прогресса не существует...» — «Позвольте вас остановить, — прервет нас на этом месте защитник новейших плохих романов, — ваши умозаключения несовременны и неосновательны, потому что выведены из общих отвлеченных понятий, а не из фактов, опираются на синтезе, а не на анализе». — «Позвольте возразить вам, — будет наш ответ, — что наши заключения основаны на строжайшем анализе фактов, и общие соображения о прогрессе выставлены нами вперед только потому, что проверены над фактами. Если бы вы не прервали наши слова, вы сами увидели бы это». — «Позвольте же потребовать доказательств». — Извольте же слушать; вот факты.

Прочитав несколько глав романа, заглавие которого выставлено в начале нашей статьи, мы узнали, что у Александры Николаевны Огинской было две дочери, из которых старшая, Катя, была честолюбива и любила наряжаться, а младшая, Аня, была добра, мила, скромна, добропохвальна по нежности сердца; узнали потом, что старшая начала отсыкивать себе богатого и знатного жениха и отыскала князя Рамирского... виноваты, Границкого, и так как вышла за него, не принимая в соображение его характера, то и была несчастна. Прочитав это, мы задума-

лись: где-то мы читали что-то подобное, но где именно? Боже мой, неужели в «Семействе Холмских»² — романе, доставившем в 1830 годах автору такую громкую известность в публике (несмотря на насмешливые отзывы журналов), что на последующих сочинениях своих он, вместо фамилии, выставлял славную фирму «сочинения автора Семейства Холмских», как Вальтер-Скотт на своих романах выставлял титул «автора Уэверли»³, — неужели в «Семействе Холмских» читали мы подобную историю? Неужели там у вдовы Холмской точно так же старшая дочь, Елизавета, одарена тем же характером и выходит замуж за князя Рамирского точно так же, и живет не совсем счастливо точно так же, как в «Трех порах жизни»? Считая необходимостью следить за веком, мы поставили себе за правило наводить при малейшем поводе библиографические справки и потому тотчас же принялись за «Семейство Холмских», и вы, читатель, не можете себе представить, как интересен, жив, полон наблюдательности и блестящих следов великого таланта показался нам этот забытый роман, в свое время считавшийся очень плохим, после нового романа г-жи Тур. «Я очень хорошо помню, — говорите вы, читатель, — что «Семейство Холмских» роман очень незавидного достоинства; у меня даже остались некоторые воспоминания о его содержании; докажете же мне, во-первых, что, начав читать его после «Трех пор жизни», всякий найдет его превосходным, как найдет очень гармоничным незатейливое чиликанье простодушного воробья, наслушавшись итальянских романсов иной модной певицы. Кроме того, должны вы показать мне, какую же положительную пользу принесло вам перелистывание «Семейства Холмских». С величайшим удовольствием исполним ваше второе требование, недоверчивый приверженец новых плохих романов, удовлетворив первому, и с величайшею готовностью (хоть, может быть, и не с величайшим удовольствием, потому что «скучно припоминать скучное», — говорит один из неизданных афоризмов Кузьмы Пруtkова) спешим рассказать вам содержание нового романа г-жи Тур.

В некотором царстве, в некотором государстве, может быть, в России, но может быть, и в Бразилии, может быть, и в Японии, потому что русских нравов и русской жизни в романе столько же, сколько и бразильских, — итак, в некотором государстве жила была молодая вдова Александра Николаевна Огинская (за Огинскою появится князь Границкий, княгиня Воротынская, Зина, Клодина, Татá — чисто бразильское, как видите, имя, — Лина, Валентин, Змеев, Силкова, Леон Армалев и т. д.; главные лица: Валентин, княгиня Зинаида Воротынская и Татá). Вам угодно знать, красавица ли была Огинская? Фи! красавица! это слишком тривиально! Нет, в последние тридцать или сорок лет отыскан и в тридцати тысячах романов описан другой, высший тип красоты, которая лучше, нежели ничтожная красота красавиц; и может ли Александра Николаевна не принадлежать

к этому новому типу идеалов? «Те, которые не любят или не понимают красоты, так сказать, *внутренней*, конечно, могли бы назвать ее дурною; но если бы им случилось взглянуть в ее глубокие, серые глаза, сколько привлекательного нашли бы они в них! Она была белокура, волосы ее вились от природы, а потому она никогда не могла овладеть ими; выбиваясь из-под гребня и *щетки* (??), ложились они причудливыми волнами, образуя вокруг всей головы легкую, едва заметную паутинную ткань, бледнозолотистый цвет которой, при свете лампы, окружал ее каким-то фантастичным сиянием». О, зачем судьба не дала мне счастья видеть Александру Николаевну при свете лампы! Я оценил бы эти волосы, которые выбивались из-под щетки! Но, увы! я не видел этой паутинной ткани; а кроме меня никто не очаровался фантастичным сиянием, окружавшим ее голову, и если вы думали, что г-жа Тур с такою любовью описывает внутреннюю красоту волос Александры Николаевны потому, что нашлись поклонники этой дивной женщины, вы жестоко ошиблись: люди не пленились ею, как, вероятно, не пленятся и «Тремя порами жизни»; и г-жа Тур описывает волосы молодой вдовы с внутреннею красотою так подробно не потому, чтобы это было нужно для романа, а просто из любви к фантастическому сиянию. Александра Николаевна занимается воспитанием детей; из них особенно замечателен Валентин, будущий главный герой романа, у которого «розовая кровь струилась под тонкою кожей и нежным румянцем, а темнозеленые (!!) глаза, опущенные темными ресницами, блистали веселостью», которая, как увидите, угаснет от страданий любви. Он вырос под влиянием доброй, но слабой матери и сотни мамок и нянек; потому остался жалким на всю жизнь; но г-жа Тур постоянно рисует его явную и сухую фигуру самыми поэтическими красками. Точно так же воспитана и младшая сестра его, Аня. Но старшая сестра, Катя, воспитывается теткою, помещанною на знатности и светскости, и потому из нее выходит бездушная кокетка, которая приучается заманивать знатных женихов «блестящими звуками рояля». Очень длинно расписывается «Первая пора жизни», детство Валентина и Аняты; но читатель может судить по приторной аффектации выписанных нами фраз, много ли искренности и теплоты в описании детства: оно холодно и экзальтировано, и мы, подражая молодой вдове с бледнозолотистым сиянием паутинной ткани вокруг всей головы, которая (вдова) «становилась неумолима и холодна, сталкиваясь с ложью и экзальтацией», неумолимо и холодно пройдем молчанием все детство наших героев, не останавливаясь ни на доброй карлице Фене, которая «подносит детям пенки и свежий, теплый, мягкий хлеб» (когда же подается к чаю заплесневелый и черствый?), ни на докторе-еврее в черном парике, с огромной тростью в руках (отчего же нет на ней обычного золотого набалдачника?), ни на Ипполите Федо-

рыче, учителе детей, у которого огромная голова, страшные брови, широкие колена (?) и широкие плечи; он, конечно, пугает детей наружностью, пугает огромною книгою; но на половине пространства между широких колен и плеч его широкое и добрейшее сердце, а в страшной книге — чудные рисунки; и суровый метод его воспитания смягчается, потому что он обаятельною мягкостью Александры Николаевны, проливавшей на все окружающее доброту, нежность и счастье, «мало-помалу увлечен был в этот магический круг и вскоре вошел в него совершенно и составил с ним одно нераздельное целое». Чтобы сносно описать детство, надобно иметь любовь к детям, а не к вычурным фразам. Но вот дети выросли, Огинские переехали в Москву, старшая сестра Валентина, Катя, отыскала себе жениха, князя Границкого, — и начинается роман: родственница Границкого, княгиня Воротынская, делает бал: Валентин должен ехать, как брат невесты, — и влюбляется в княгиню; это очень естественно, взгляните только на портрет ее:

«Воротынская была женщина лет двадцати шести, довольно полная, с удивительно красивыми очертаниями плеч и талии. Черные глаза ее были живы; их разрез продолговатый, как миндалина, придавал какую-то томность ее физиономии» и т. д. Преобладающая черта в ее характере доброта, доходящая до слабости; и она решительный сколок с самой матери Валентина, хотя, очевидно, автор и не думал об этом сходстве. Она полюбила младшую сестру Валентина, Анюту, и Валентин часто ездит с сестрою к ней. Само собою разумеется, что и княгиня не остается равнодушно к прекрасному молодому человеку, хотя он держит себя с нею как простяк. Отношения их становятся короче и короче (какая старая тема! и сколько надобно таланта, чтобы сносно писать на нее! А в «Трех порах» ничего, кроме экзальтации и аффектации, читатель, вероятно, еще не заметил). Объяснениям влюбленных вечно мешают: то Силкова, то тетка Воротынской; это еще больше разжигает страсть влюбленных и растягивает скучные сцены. Но вот Воротынская уезжает к другой больной тетке, наполовину только объяснившись с Валентином, и некто г-жа Силкова начинает ловить в свои сети Валентина. И как не стараться завлечь? На 113 странице 1 части, точно так же, как на 6 (см. выше): «Тонкая кожа его, под которою текла молодая кровь, нежным румянцем покрывала его белые щеки» и т. д. Но не в силки Силковой, а в объятия наяды, сирены, вакханки, спутником которой избран Змеев (о! страшно! за Валентина страшно мне!), попадает юноша, у которого щеки были не покрыты, а окрашены кожей! Вообразите у Силковой маскарад, нарочно сделанный с целью изловить Валентина; он не хотел ехать (бедный юноша! чувствует беду в сердце!), но маменька послала его на бал (зачем без няньки? Добрая и опытная Федосьевна сохранила бы неопытное дитя!)... вообразите же, входит он в зал — и

«Вдруг внимание его приковалось к женщине, подходившей все ближе и ближе. Она предстала ему, как видение, как чудный, давно знакомый образ: об руку с мужчиной (уф, это верно Змеев!) шла женщина, одетая вакханкой, но одетая так грациозно, так пристойно (увидим, что не совсем), что никто не мог бы найти для ней слова порицанья. (Следует описание белого газового ее платья, см. «Мода, журнал для светских людей» 1853 года № 15.) Тигровая кожа была наброшена на одно плечо ее и спадала с другого. Золотые застежки, представлявшие когти тигра, ее придерживали: они впились в ее белое матовое плечо и покрывали его легким розовым оттенком...»

Нет, я опасаясь и за себя и за читателя, если буду продолжать выписку; скажу только, что столь же роскошно и пластично описана «полуоткрытая талья» вакханки, «полная, но небольшая, антично созданная грудь ее» и т. д., все по принадлежности. «Восклицание (вероятно, неудобное для печати, потому что не приведено автором) сорвалось и с языка Валентина», когда она проходила мимо него. Потом она «пронеслась мимо него в вихре вальса, и за ней (дело очень понятное, при быстроте движений застежки могли соскользнуть с плеча), как облако, нескромно рисуя стан, вилось ее легкое платье. Не помня себя, бросился Валентин, пробился меж танцующих», но «смутился, оробел» и попросил только ее вальсировать. Описание трех туров вальса с очаровательницею так же хорошо, как и все предыдущее. Но впереди еще много великолепных сцен, мы должны спешить к ним. Вакханка — Ельцова, светская дама довольно легкого поведения. Она приглашает Валентина к себе. Он бывает у нее каждый день и т. д. Но если он влюблен в роскошную Ельцову, то в него влюбляется Тата, кузина Ельцовой, на изображение которой потрачено еще больше красок.

Тата играет у Ельцовой роль немногим лучше горничной девушки; горе и оскорбления развили в ней удивительный ум, энергическую волю, смуглый цвет кожи. Можно вообразить, как она влюблена в Валентина и с какою твердостью (зато и с какими страданиями!) таит она в своей груди змею неразделенной любви. Но о ней после, когда Валентин обратит на нее внимание; теперь он занят одною Ельцовой, с которою каждый день под вечер, пока съедутся другие молодые люди, просиживает наедине, запершись в ее кабинете по несколько часов. Это, конечно, для него очень приятно, но нравственность, нравственность страждет! Что скажут об этом дамы! Притом эти платонические беседы непостижимы и для нас, мы помним, что Ельцова — вакханка. Но вот она теряет терпение; на подмогу берет князя Симанского, принимается кокетничать с ним, и тогда происходит следующее: Валентин сидит у Ельцовой; является Симанский, ему велят отказать, и — опишем все по порядку... Впрочем, зачем описывать? все происходит по обыкновенному порядку. «Огонь желаний... жаркое дыханье... он задрожал...», и, наконец, Валентин поскакал в лес, и «гордо глядел он на восходящее солнце, глядел прямо» — удивительно крепкие глаза! Если таков же был весь

его организм, то Воротынская и Ельцова основательно находили его очаровательным молодым человеком. Но вот он приехал домой и лег спать: «Как сладок, как живителен ты, сон юности, впервые узнавшей всю сладость жизни!» Да, это совершенно справедливо. Мать замечает похождения сына и предостерегает его; но Валентин продолжает ездить к Ельцовой. Конечно, скоро Ельцова чувствует потребность обратить свое внимание на Симанского, который, по выражению автора, «колосс». Сначала Валентин не замечает ничего; Тата объясняет ему кокетство Ельцовой; начинаются сцены ревности, примирения, восторгов и т. д. Но вот Воротынская воротилась из деревни и требует к себе зашалившегося мальчишку. Она объясняет ему — трогательная сцена: ведь она втайне любит его и должна скрывать свою любовь — что за женщина Ельцова, и т. д.; Валентин держит себя как школьник уже довольно развязный и рассуждает о непобедимости страсти: наконец, однако, дает слово уехать от пагубы в деревню: там его ждет больная мать. Но скоро он возвращается и опять увлекается прежней «сладостью» пуше прежнего. Остановимся здесь. Почему не рассказывать и подобных эпизодов жизни? Но как рассказывать их, вот в чем дело. Неужели глупые похождения бесхарактерного и слабого мальчика надобно описывать, как благородный пыл первой, чистой страсти? раскрашивать его восторги с сочувствием и увлечением? Кто пишет о них так, тот не имеет права братья за подобные сюжеты. Надобно стоять выше их, чтобы описания их были верны и поучительны. Иначе мы напишем нечто фальшивое и жалкое во всех отношениях, начиная с художественного. Возвращаемся к роману. К жалкому, ничтожному Валентину приезжает из Петербурга бойкий приятель, Армалев, и, узнавши положение дел, принимает на себя труд спасти бедного мальчика, обративши к себе милости Ельцовой. Достигнув своей цели, он показывает Валентину очень недвусмысленную записочку Ельцовой. Валентин, конечно, страдает; его страдания, глупые, как все прежние восторги, описываются с таким же участием. Но мы ошиблись, сказав, что приятель спас его от гибели — нет, Валентин опять впадал в прежние пароксизмы любви; он окончательно бросил Ельцову, только подслушав, как она осмеивает и передразнивает его. Фи, какой пустой и мелочной человек! Ему изменили, он узнал, что его всегда обманывали, что о любви к нему никогда и не думали. Это еще ничего для него; затронули его тщеславие — и он исцелился. И усевая подобными чертами портрет своего героя, автор думает, что изображает человека благородного, с великою, возвышенною, страстною душою и т. д., но только несчастного в любви и погибающего от нежности сердца! Чтобы спастись от таких жалких промахов, автору необходимо соразмерять свой сюжет с своею опытностью и силами, не описывать того, что не испытано им или не понято — и слава богу, конечно, что не испытано.

Но вот прошел год. Ничтожный наш герой опять влюбляется и опять в первый предмет своей страсти, Воротынскую. Скучно и жалко было бы описывать их воркованья и страданья. Оба они бессильны, оба они смешны и оба описываются с прежним глубоким участием. Татá живет уже у Воротынской и мучится ревностью, глядя на их нежничанья. Не понимаем, как она с умом своим и энергическим характером может находить плаксивого Валентина достойным чего-нибудь, кроме жалости, смешанной с пренебрежением. Второй том, повествующий обо всем этом, еще аффектированнее, экзальтированнее первого. Чтобы дать вам понятие о впечатлении, которое производят все приторные сцены любви и страданий (причиною страданий — жалкая и бессильная тетка Воротынской, напоминающая племяннице о приличиях и условиях света) Воротынской и Валентина с неизбежным аккомпанементом сердечных мучений Таты, скажем, что такое впечатление могла бы произвести разве картина жеманной влюбленности беззубого старика (так старчески вял и бессилён Валентин) и жеманно-стыдливой, нервной, плаксивой 45-летней девы в бальном платье, с набеленными щеками и плечами; прибавьте, что полная жизни молоденькая красавица с ревностью и завистью плачет о том, что не она на месте счастливой девы. Но приезжает Армалев. Ему надобно сыскать себе богатую жену, потому что он живет открыто, потому что он честолюбив, потому что у него много долгов, — он избирает предметом своих исканий Воротынскую и, конечно, без всякого труда отбивает ее у Валентина. Не знаем, как удалось объяснить себе этот факт автору при его понятиях о его любимце и любимице, идеалах любви, воркованья и всевозможных нежностей. С его понятиями о своих героях такая измена Воротынской, такая вялая (конечно, вместе и слезливая) уступка со стороны Валентина просто непостижима. Для нас все это кажется очень естественным: Воротынская — пустая женщина, Валентин — тряпка, которую оттолкнуть ногою не стоит ни малейшего труда. А с каким пафосом выставляет их автор великими людьми, у которых одна только слабая сторона — нежность сердца! С какою странною любовью описывает он их радости и горести! Да если в них была хоть капля какого-нибудь чувства, кроме фальшивейшей, натянутейшей экзальтации, зачем же они не женились? кто им мешал? Нет, Валентин с своими горестями решительно похож на здорового парня, который горькими слезами плачет о том, что у него на носу сидит муха. «Да ты бы согнал ее, братец!» — «Не смею». — «Да что же ты не смеешь?» — «Она рассердится, меня съест!» Валентин, видите ли, боялся тетки своей возлюбленной, старухи, не имевшей никаких прав над племянницею, у которой жила она. Разумеется, такой человек имеет полное право говорить с Чайльд-Гарольдом: «Теперь я один в целом свете» и т. д. (Часть II, стр. 278.) Жалкий и смешной человек! Нет, не испытал или не понимал серьез-

ного горя такой человек и неспособен был он живо чувствовать и наслаждений. Тряпка, тряпка и тряпка! И хорошо сделала эта тряпка, что поехала от нас подальше, за границу. Но нет, не принесет ему пользы эта поездка. Другое дело, если бы пришлось ему остаться без своего богатства и самому трудиться, тогда бы, может быть, позабыл он о своих Ельцовых и Воротынских и стал бы хоть сколько-нибудь похож на дельного человека. Но нет, он сел бы, сложа руки, на улице и плакался бы целый день на судьбу, пока «жареная утка ему в рот влетит».

Наконец, мы принимаемся и за третью часть. Тут являются большею частью новые лица. Возвратившегося из-за границы Валентина уже и сам автор, кажется, признает тряпкою; по крайней мере, в продолжение всей третьей части куда угодно водит его за нос племянница, дочь старшей сестры, вышедшей в начале романа за князя Границкого. Эта хитрая девушка вознамерилась кругом обобрать богача-дядю для поправления расстроенных дел своего семейства. Но Огинский еще не потерял качества быть всеобщим возлюбленным, и если бывшей княгине Воротынской муж не позволяет уже предаваться пустому препровождению времени с милым Валентином, хотя, может быть, она была бы и не прочь от этого, несмотря на Валентиновы 40 с хвостиком, а свои 50 с хвостиком лет; если Тата (сердечно жалею, что не могли, за недостатком места, описать чудного ее портрета во весь рост) после катастрофы с Воротынской или прежде, не припомним хорошенько, пошла в монастырь, то у Таты была подруга Лина — может ли 45-летний Валентин не влюбиться в нее? Может ли она быть избавлена от неприятной, но неизбежной обязанности влюбиться в поэтического Валентина? Правда, Лина имеет жениха, который уже 5 лет состоит в этом качестве. Правда, ей уже под 30 лет; правда, она очень солидная, скромная, рассудительная девушка, и мы готовы были бы, основываясь на всем этом, ручаться головою, что она не впадет в такую неосновательную любовь к ничтожному человеку, несообразную ни с летами возлюбленного всеми Валентина и ее собственными, ни с ее характером; но приказ от автора дан: «извольте влюбиться, m-lle Lina». — «Слушаю-с», — отвечает Лина и влюбляется. Конечно, коварная племянница, чтобы не лишиться дядина наследства, расстраивает любовь, на этот раз решительно уже подходившую к свадьбе, и Лина куда-то убегает. Огинский в третий раз убит. Мы боимся, что все еще не наповал: посмотрите, лет через десять отдохнет опять, и опять обзаведется восторгами и муками любви.

Вот, подумаешь, счастливые люди! До 45 лет только и дела делают, что влюбляются да влюбляют в себя! Зато какие же фальшиво экзальтированные и пустые люди!

Может быть, благосклонный читатель и согласится теперь, что самые плохие старинные романы не могут выдержать срав-

нения с иными нынешними. Но слабый и краткий наш очерк, как угадывают, конечно, сами читатели, так же далеко не мог передать и сотой доли красот романа в трех частях, как гравюра не может передать сотой доли красот рафаэлевской картины. Чтобы дать возможность хотя несколько познакомиться из нашей рецензии с блестящими достоинствами романа, мы выпишем одну из последних, но далеко еще не самых поразительных страниц. Лина уже почти невеста Огинского, предостерегает его от хитростей племянницы, которая поет ему соловьиные песни, чтобы выманить у него деньги. «И вы говорите мне это!» — восклицает Огинский совершенно неправдоподобно, потому что имел уже миллион случаев удостовериться в благородстве, бескорыстии, самоотверженности Лины: «Кто скажет мне, что слова ваши искренни, что вы, говорящая так много о деньгах, не любите их сами?»

«Я!» — сказала Лина так глухо, что Огинский взглянул на нее наконец. Он был поражен ее бледностью. Мысль, что Лина побледнела потому, что он угадал ее, как молния, сверкнула в уме его (как это правдоподобно! Что за умница в самом деле была этот Валентин) и сообщила мрачный вид всему прошлому любви их и уничтожила ее остатки.

«Да, вы!» — продолжал он с холодным, отчаянным порывом. «Кто мне поручится за вашу искренность, за ваше простодушие, за вашу привязанность? Деньги, все деньги! везде! всюду! все можно купить! (Нет; ума, например, нелзя и таланта тоже.) Блажен тот, кто верит, что вы ему отдались, да, отдались (NB. если Валентин не хвастается небывалым, то плохи же ее дела!) за груды золота, но это-то и называют куплею люди дальновидные! Я проклинаю тот час, когда увидел вас, поверил вам!»

Лина вся дрожала; она оперлась на стул машинально; хотела говорить — и не могла; хотела идти — ноги ее подкашивались. Она задыхалась (воды! воды! спирту! барышине дурно!), в глазах ее потемнело. Но сильная воля ее превозмогла это сражающее потрясение; громкий вздох, будто вопль растерзанной души (а разве вздох не в самом деле вопль растерзанной души?), вырвался из сжатых, стиснутых (фигура напряжения, действующая на чувство читателя. См. «Реторика Кошанского», § 57), побелевших губ ее; она крепко прижала руку к сердцу, приказывая ему молчать и не биться — и, повинаясь силе воли, сердце как бы замерло в ее груди (как же такая сильная женщина не имела достаточного влияния на слабого Огинского?).

«Бог с вами, Огинский!» — произнесла она едва слышно и пошла к двери медленно, но твердо.

Он бросился за ней стремительно и схватил ее за руку.

«Куда вы?» — закричал он порывисто и повелительно: — «отвечайте! отвечайте же мне!»

Но Лина, задыхаясь, уклонилась от него и, указывая на дверь, сказала глухо, задыхаясь:

«Где вы, там меня не будет! Идите или пустите меня!»

Он отступил от нее. Она вышла.

Через два часа Огинский одумался и раскаялся. Он бросился в комнату Лины. Она была пуста.

Так же, как «Три поры жизни», если позволительно предложить вопрос. Нет, еще не так: в комнате Лины «на полу валялись бумаги и лоскутья», — одним словом, хоть что-нибудь

было. А в «Трех порах» нет ни мысли, ни правдоподобия в характерах, ни вероятности в ходе событий; есть только страшная аффектация, натянутость и экзальтация, представляющая все в «каком-то фантастическом сиянии» и как раз навыворот против того, что бывает на белом свете. Над всем этим властвует неизмеримая пустота содержания. Но вам, читатель, угодно было знать, какую пользу может принести чтение плохих старинных романов? Всякому читателю может принести такую пользу — навести на него гораздо менее безотрадной тоски, нежели, например, чтение нового романа г-жи Евгении Тур; рецензенту оно может принести еще более выгоды — иногда снять с него часть работы, доставив ему готовый уже отзыв о книге; последнее случается, например, вот как: автор «Семейства Холмских», довольный отзывами журналов о его романе, написал длинное предисловие, в котором собрал — и, конечно, опроверг — эти отзывы. Все они чрезвычайно хорошо применяются и к «Трем порам жизни»; особенно отзывы «Телескопа» и еще одной газеты, почему же нам и не применить их? вот они (см. предисловие к третьему изданию «Семейства Холмских», Москва, 1841).

1) «Семейство Холмских» (читай: «Три поры жизни») несколько не удовлетворяет современным требованиям; излишество бесполезного прозябания хуже бесплодия.

2) Чтение «Семейства Холмских» (читай: «Три поры жизни») можно уподобить путешествию от Тобольска до Белостока.